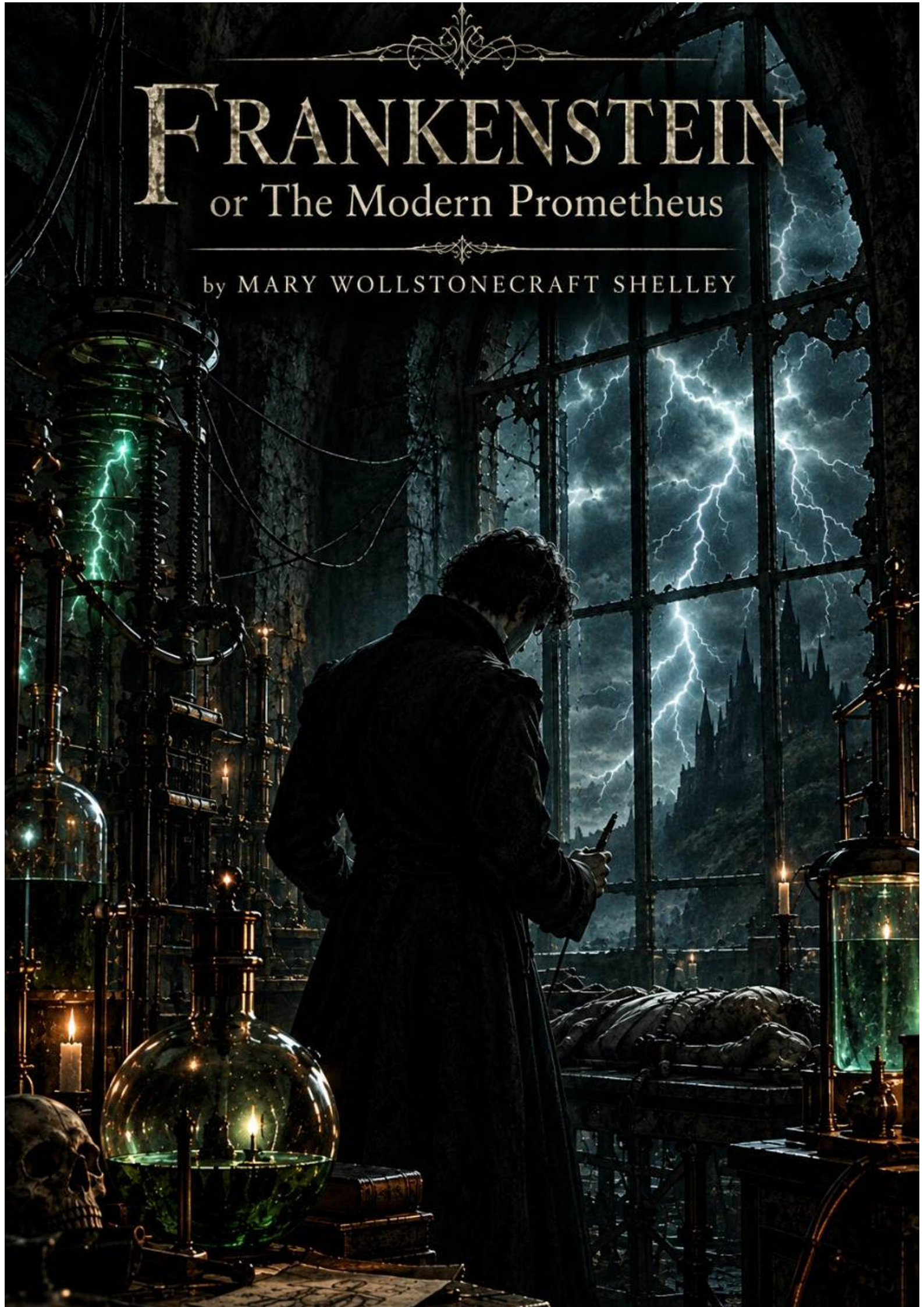




FRANKENSTEIN

or The Modern Prometheus

by MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY

Мэри Шелли

**Франкенштейн, или
современный Прометей**

«Автор»

2026

Шелли М.

Франкенштейн, или современный Прометей / М. Шелли —
«Автор», 2026

«Франкенштейн, или Современный Прометей» — блистательный шедевр Мэри Шелли, ставший абсолютным мировым манифестом о безграничных возможностях человеческого разума, неукротимой воле к созиданию и цене великих открытий. В центре этого пронзительного и глубокого романа — история гениального ученого Виктора Франкенштейна. Обладая феноменальным упорством, железным внутренним стержнем и неугасающей жаждой знаний, он совершает подлинный интеллектуальный прорыв, бросая вызов самой природе. Это книга о человеке со стальным характером, который готов идти до конца ради своей мечты. Однако грандиозный триумф его разума запускает цепь масштабных испытаний, заставляя героя мобилизовать скрытые ресурсы духа и выковать абсолютную психологическую стойкость. Роман поражает тем, как бескомпромиссная вера в себя, тяга к самосовершенствованию и сила личности способны менять судьбу и ломать любые барьеры.

© Шелли М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Письмо первое	5
Письмо второе	7
Письмо третье	9
Письмо четвертое	10
Глава 1	14
Глава 2	17
Глава 3	21
Глава 4	25
Глава 5	29
Глава 6	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Мэри Шелли

Франкенштейн, или современный Прометей

Письмо первое

Миссис Сэвилл, Англия

Санкт-Петербург, 11 декабря 17.. года

Возрадуйся, милая сестра: предприятие, что внушало тебе такие зловещие предчувствия, началось без единой беды. Вчера я ступил на здешнюю землю, и первым долгом спешу уверить тебя в своём благополучии и в том, что вера моя в успех замысла крепнет с каждым часом.

Я уже далеко к северу от Лондона. Брожу по петербургским улицам — и холодный северный ветер овеивает щёки, пронизывает до самого сердца и наполняет его каким-то восторженным ликованием. Понятно ли тебе это чувство? Этот ветер прилетел оттуда, куда лежит мой путь, — и уже теперь он дарит первое, обжигающее предвкушение ледяных широт. Окрылённое этим обещающим дыханием, воображение мое разгорается всё жарче, всё явственнее, и я предаюсь грёзам, полным огня. Тщетно силюсь я убедить себя, что полюс — обитель холода и мёртвого запустения: он упрямо является мне краем неземной красоты, краем блаженства. Там, Маргарет, солнце не заходит вовсе — огромный огненный диск его лишь скользит по самой кромке небосклона, разливая немеркнувшее, вечное сияние. Там — позволь довериться прежним мореходам, дерзнувшим прежде меня, — нет места ни снегу, ни стуже; и, быть может, по глади дремлющего моря нас вынесет к земле, что превзойдёт красотой и дивами своими всё, доселе открытое людьми на этой земле. Её чудеса, самый облик её, быть может, не имеют себе равных — как не имеют себе равных небесные знамения в тех неведомых, никем не тронутых пустошах. Чего только не сулит страна вечного света? Быть может, там откроется мне таинственная сила, влекущая магнитную стрелку в незримом трепете, и удастся привести в стройный, вечный порядок тысячи небесных наблюдений, чьи кажущиеся причуды лишь ждут этого плавания, чтобы обрести наконец разгадку. Жгучая, ненасытная жажда познания утолится видом земли, куда не ступала ещё нога человека; быть может, доведётся мне первому коснуться почвы, дремлющей от начала времён нетронутой. Вот что манит меня, вот что зовёт вдаль, — и этого довольно, чтобы отринуть всякий страх перед опасностью и самой смертью, чтобы пуститься в это многотрудное странствие с той безоглядной, чистой радостью, с какою дитя отправляется с друзьями в лодке вверх по родной реке — открывать неведомое. А если все эти мечты и обманут, если полюс останется глух к моим упованиям, — как оспорить благо, неоценимое для всего человечества вплоть до самых дальних, ещё не рождённых поколений: открыть близ полюса путь в те края, куда ныне добираются долгими, томительными месяцами, или разгадать извечную тайну магнита, — а разгадать её, если это вообще под силу смертному, способно лишь такое предприятие, как моё?

Эти мысли рассеяли смутение, с которого начиналось письмо, и сердце моё пылает воодушевлением, возносящим меня к самым небесам: ибо ничто так не умиротворяет мятущуюся душу, как твёрдая, единственная цель — та звезда, на которой останавливается внутренний взор. Эта экспедиция была заветной, потаённой мечтой моей юности. С каким жаром читал я некогда описания всех плаваний, что предпринимались в надежде достичь северной части Тихого океана морями, омывающими полюс! Ты, верно, помнишь: вся библиотека доброго дяди Томаса состояла из одних лишь повестей о путешествиях, предпринятых во имя открытий. Воспитанием моим пренебрегали, но страстью к чтению я горел истинной, неутолимой.

Эти ветхие книги были моей пищей и днём, и ночью, и чем ближе становились они мне, тем острее делалось давнее сожаление, знакомое ещё с детских лет, — с той поры, как открылось мне: предсмертная воля отца запретила дяде отпускать племянника в море.

Эти видения померкли и истаяли, стоило мне впервые раскрыть тех поэтов, чьи вдохновенные строки пленяли душу и возносили её к небесам. Пришёл черёд и собственных стихов — целый год длился рай, сотворённый моим же воображением; мнилось мне, что и здесь, среди избранных, найдётся ниша в храме, где освящены навеки имена Гомера и Шекспира. Тебе хорошо известно, чем обернулась эта попытка, и как тяжко, как безутешно пережито было разочарование. Но как раз в ту пору досталось мне наследство кузена — и мысли мои вновь обратились в прежнее, извечное русло.

Шесть лет минуло с тех пор, как было решено взяться за нынешнее дело. И поныне помнится мне тот час, когда всё существо моё, всем своим порывом, обратилось к этому великому замыслу. Началось с того, что тело своё стал я приучать к лишениям, закалять его, точно сталь в холодном горне: не раз довелось мне выходить с китобоями в суровое Северное море; добровольно терпел я стужу, голод, жажду, долгие бессонные ночи; днём трудился усерднее простых матросов, а ночи отдавал математике, медицинской науке и тем областям знания, из которых мореход-искатель приключений мог бы извлечь наибольшую пользу. Дважды удавалось мне наняться помощником штурмана на гренландское китобойное судно — и служба моя шла на диво успешно. Признаюсь без ложной скромности: льстило самолюбию, когда капитан предложил мне вторую по чести должность на корабле и с великой настойчивостью упрашивал остаться, — так дорожил он моею службой.

И теперь, милая Маргарет, разве не заслужена награда — свершить нечто истинно великое? Я мог бы прожить свой век в неге и праздном довольстве, но слава оказалась мне милее всех соблазнов, что сулило богатство. О, если бы хоть один ободряющий голос откликнулся из темноты и произнёс: да, ты прав, иди! Решимость моя и мужество непоколебимы, точно гранит; но надежда переменчива, как облака над северным морем, и дух мой нередко падает, гаснет. Впереди — долгое и трудное плавание, чьи превратности потребуют всей стойкости без остатка: мне придётся не только поднимать дух товарищей своих, но порой и собственный — тогда, когда чужой уже начнёт слабеть и меркнуть.

Сейчас самая благодатная пора для странствий по России. Здесь стремительно, будто на крыльях, летят на санях по снегу; движение это дышит покоем и, право, куда отраднее, нежели тряска английского дилижанса. Стужа не так уж свирепа, если кутаешься в меха, — этот наряд я уже принял, ибо велика разница между вольной прогулкой по палубе и долгими часами неподвижного, скованного сидения, когда никакое движение уже не спасает кровь от того, чтобы вправду не застыть, не оледенеть в жилах. Нет у меня ни малейшего желания сложить голову на глухом почтовом тракте между Петербургом и Архангельском.

Через две-три недели путь мой лежит в последний из названных городов; там же задумано нанять судно — дело нехитрое, стоит лишь оплатить страховку владельцу, — и набрать столько матросов, сколько потребуется, из числа тех, кто издавна привычен к суровому китобойному промыслу. Выйти в море раньше июня не удастся; когда же случится мне вернуться? Ах, милая сестра, как ответить на этот вопрос? Если удача будет на моей стороне — пройдут долгие месяцы, быть может, целые годы, прежде чем доведётся нам свидеться вновь. Если же нет — свидимся скоро либо не свидимся уже никогда.

Прощай, моя дорогая, бесценная Маргарет. Да ниспошлёт тебе небо все свои щедрые дары и да сохранит меня — чтобы вновь и вновь мог я свидетельствовать тебе всю глубину своей благодарности за твою любовь и неустанную заботу.

Любящий тебя брат, Р. Уолтон

Письмо второе

Миссис Сэвилл, Англия

Архангельск, 28 марта 17.. года

Как медленно тянется здесь время, скованное морозом и снегом! И всё же сделан ещё один шаг к цели. Судно нанято, и ныне все дни мои уходят на то, чтобы собрать команду; те, кого удалось уже нанять, кажутся людьми надёжными и, без сомнения, наделены отвагою бесстрашной.

Но есть одна нужда, которой мне до сих пор не дано было утолить, и отсутствие того, чего мне так недостаёт, я ощущаю ныне как злейшее из зол: у меня нет друга, Маргарет. Когда душа моя воспламенится восторгом удачи, некому будет разделить со мною эту радость; если же постигнет меня разочарование, никто не станет удерживать меня на краю уныния. Правда, я стану верить свои мысли бумаге — но что за жалкий это способ передать чувство! Мне желанно общество человека, способного мне сострадать, чей взор отвечал бы моему взору. Можешь счесть меня мечтателем, милая сестра, но я с горечью ощущаю, как недостаёт мне друга. Нет рядом со мною никого — кроткого, но мужественного, наделённого умом и просвещённым, и обширным, чьи склонности схожи с моими, кто одобрил бы мои замыслы или поправил их. Как исцелил бы такой друг несовершенства твоего бедного брата! Я слишком горяч в исполнении задуманного и слишком нетерпелив перед лицом препятствий. Но есть беда ещё горше: я — самоучка. До четырнадцати лет я рос дикарём среди пустошей и не читал ничего, кроме дядюшкиных книг о путешествиях; в этом возрасте я познакомился со знаменитыми поэтами родной земли, но лишь тогда, когда уже поздно было извлечь из этого знания всю возможную пользу, я осознал, сколь необходимо знать и другие языки, помимо родного. Ныне мне двадцать восемь лет, и по правде сказать, я невежественнее иного пятнадцатилетнего школяра. Верно, я больше размышлял, и мечты мои шире и величественнее, — но им недостаёт, как говорят живописцы, соразмерности; и мне жестоко не хватает друга, чей разум был бы довольно тонок, чтобы не презреть меня как пустого мечтателя, а сердце — довольно привязано ко мне, чтобы образумить мой ум.

Что ж, всё это — жалобы напрасные; на бескрайнем океане мне, конечно, не сыскать друга, да и здесь, в Архангельске, среди купцов и мореходов, его не найти. И всё же порой в самых суровых, загрубелых сердцах бьётся нечто, не причастное низменному праху людской природы. Мой лейтенант, к примеру, — человек удивительного мужества и предприимчивости; он одержим жаждою славы, или, говоря точнее, жаждою возвыситься в своём деле. Он англичанин и, не тронутый образованием, среди всех сословных и ремесленных предрассудков сохранил в себе нечто из самых благородных свойств человеческой природы. Впервые я узнал его на борту китобойного судна; узнав же, что здесь, в городе, он остался не у дел, я без труда склонил его принять участие в моём предприятии.

Капитан судна — человек нрава превосходного, замечательный на корабле своей мягкостью и кротостью, с какою правит он людьми. Это обстоятельство, вкупе с его всем известной честностью и бесстрашием, побудило меня с особым тщанием добиваться его согласия. Юность, проведённая в одиночестве, лучшие годы, минувшие под твоим нежным, женственным попечением, так утончили самую основу моего нрава, что я не в силах побороть глубокое отвращение к той жестокости, что в обычае на кораблях: я никогда не верил, что она необходима, — и когда услышал о моряке, равно прославленном добротою сердца и тем уважением и послушанием, что оказывает ему команда, счёл себя особенно счастливым, заручившись его согласием. Впервые я услышал о нём при обстоятельствах поистине романтических — от дамы, обязанной ему всем счастьем своей жизни. Вот, вкратце, его история. Несколько лет назад он полюбил молодую русскую девушку из семьи среднего достатка, и, скопив немалую сумму при-

зовых денег, добился согласия её отца на брак. Незадолго до назначенного венчания он вновь увидел свою нареченную — но она была вся в слезах и, бросившись к его ногам, молила пощадить её, признавшись при этом, что любит другого, — но тот беден, и отец никогда не согласится на такой союз. Мой великодушный друг ободрил просящую и, узнав имя её избранника, тотчас отступился от своих притязаний. На скопленные деньги он уже успел купить ферму, где думал провести остаток дней своих, — но всё до последней монеты, вместе с остатком призовых денег на обзаведение хозяйством, отдал сопернику, а после сам отправился просить отца девушки о согласии на её брак с любимым. Но старик решительно отказал, полагая себя связанным словом чести перед моим другом; тот же, видя отца непреклонным, покинул родину и не возвращался до тех пор, пока не услышал, что прежняя его возлюбленная обвенчана по сердечному влечению своему. «Что за благородная душа!» — воскликнешь ты. Так оно и есть; но при этом он совершенно необразован: молчалив, как турок, и какая-то простодушная беспечность сопутствует ему во всём, — она делает его поступок ещё более удивительным, но вместе с тем убавляет того сочувствия и того интереса, какие иначе он вызвал бы.

Не думай, однако, что от этих малых жалоб или оттого, что я мысленно рисую себе утешение, которого, быть может, так и не изведая, решимость моя колеблется. Она незыблема, как сама судьба, и плавание моё откладывается лишь до той поры, пока погода не позволит мне отплыть. Зима стояла жестокая, но весна сулит быть милостивой, и её называют небывало ранней, — быть может, я отправлюсь в путь скорее, чем ожидал. Безрассудства я не совершу: ты знаешь меня довольно, чтобы довериться моей осторожности и здравомыслию всякий раз, когда в моих руках окажется безопасность других людей.

Не в силах я описать тебе то, что творится в душе моей при мысли о близком уже свершении моего замысла. Невозможно передать словами тот трепет, наполовину сладостный, наполовину пугающий, с каким я готовлюсь отправиться в путь. Я отправляюсь в неизведанные земли, в «край тумана и снега», — но альбатроса я не убью; так не тревожся за мою участь и не бойся, что я вернусь к тебе таким же измождённым и скорбным, как «Старый Мореход». Ты улыбнёшься этому сравнению, но я открою тебе тайну: я не раз приписывал свою привязанность, свою страстную одержимость опасными тайнами океана именно этому созданию самого пламенного воображения среди новых поэтов. Нечто творится в глубине моей души, чего я и сам не понимаю. Я деятелен и усерден на деле — труженик, способный исполнить задуманное терпением и трудом, — но, помимо этого, во все мои замыслы вплетена любовь к чудесному, вера в чудесное, которая увлекает меня прочь от проторённых людских путей, даже к дикому морю и безлюдным просторам, что мне предстоит исследовать.

Но обращусь к предметам более сердцу близким. Суждено ли мне вновь увидеть тебя, когда я пересеку безбрежные моря и вернусь, обогнув самый южный мыс Африки или Америки? Не смею и надеяться на подобную удачу, но и обратной стороны этой картины видеть не в силах. Пиши же мне покуда при всякой возможности: быть может, письма твои застанут меня именно тогда, когда всего нужнее будет мне опора для духа. Я люблю тебя нежно и глубоко. Вспоминай обо мне с любовью, если больше не получишь от меня вестей.

Любящий тебя брат, Роберт Уолтон

Письмо третье

Миссис Сэвилл, Англия

7 июля 17.. года

Милая сестра! Спешу набросать несколько строк — сказать, что я невредим и что путь мой подвигается успешно. Письмо это достигнет Англии с торговым судном, что ныне возвращается домой из Архангельска, — оно счастливее меня, кому, быть может, не суждено увидеть родные берега ещё долгие годы. Впрочем, дух мой бодр: люди мои отважны и, кажется, тверды в своём намерении, и даже плавающие льдины, что то и дело проносятся мимо, суля опасности того края, куда лежит наш путь, — даже они, похоже, не устрашают их сердец. Мы достигли уже весьма высокой широты; но на дворе разгар лета, и хотя здесь не так тепло, как в Англии, южные ветры, что стремительно несут нас к тем берегам, коих я так жажду достичь, дышат живительным теплом, какого я и не чаял встретить.

До сих пор с нами не случилось ничего, что стоило бы описания в письме. Крепкий шторм-другой да небольшая течь в трюме — происшествия, о которых бывалый мореход едва ли и вспомнит, чтобы занести в свои записи; и я почту себя вполне довольным, если во всём нашем плавании не постигнет нас беда худшая.

Прощай, моя дорогая Маргарет. Будь покойна: ради себя самого, как и ради тебя, я не стану безрассудно искать опасности. Я буду хладнокровен, терпелив и осмотрителен.

Но успех — я верю — увенчает мои труды. Отчего бы и нет? До сих пор я шёл вперёд, прокладывая верный путь по морям, не знающим следа человеческого, и сами звёзды были свидетелями и порукою моего торжества. Отчего же не идти и далее — через стихию дикую, но всё же покорную? Что может остановить сердце решительное и волю человека непреклонную?

Переполненное сердце само собою изливается в этих строках. Но пора заканчивать. Да благословит небо мою возлюбленную сестру!

Р. У.

Письмо четвёртое

Миссис Сэвилл, Англия

5 августа 17.. года

Столь странное происшествие случилось с нами, что я не могу удержаться, чтобы не занести его на бумагу, хотя весьма вероятно, что ты увидишь меня самого прежде, чем эти листы попадут в твои руки.

В минувший понедельник (31 июля) нас едва не сомкнули со всех сторон льды, оставив кораблю лишь узкую полосу воды, в которой он ещё держался на плаву. Положение наше было не без опасности, тем паче что нас окутывал густейший туман. Мы легли в дрейф, уповая на перемену погоды.

Около двух часов пополудни мгла рассеялась, и взорам нашим открылись во все стороны бескрайние, неровные ледяные поля, которым, казалось, не было конца. Кто-то из товарищей моих застонал, и в собственной душе моей уже зашевелилась тревога, — как вдруг странное зрелище приковало наше внимание и отвлекло от мыслей о собственной участи. В полумиле от нас мы различили низкие сани, влекомые собачьей упряжкой и направлявшиеся к северу; в санях, правя упряжкой, сидело существо, обликом схожее с человеком, но, по видимости, исполинского роста. Мы следили в подзорные трубы за стремительным его продвижением, покуда он не скрылся среди отдалённых нагромождений льда.

Зрелище это исторгло у всех нас неподдельное изумление. Мы полагали себя за сотни миль от какой бы то ни было земли; но это видение, казалось, свидетельствовало, что в действительности расстояние это не столь велико, как мы думали. Скованные, однако, льдами, мы не могли последовать за ним по следу, который отмечали с величайшим вниманием.

Часа два спустя мы услышали глухой гул подлёдного волнения, и ещё до наступления ночи лёд взломало, и корабль наш освободился. Мы, однако, легли в дрейф до утра, опасаясь встретить в потёмках те громадные плавающие глыбы, что носятся по волнам после ледохода. Этим временем я воспользовался, чтобы забыться на несколько часов сном.

Но едва рассвело, я поднялся на палубу и застал всех матросов столпившимися у одного борта — они, казалось, беседовали с кем-то за бортом. То были действительно сани, подобные виденным прежде, — их пригнало к нам за ночь на большой льдине. Из собак уцелела лишь одна; но внутри саней находилось живое существо, человек, которого матросы уговаривали взойти на борт. То был не дикарь с какого-нибудь неведомого острова, каким казался прежний путник, а европеец. Когда я появился на палубе, капитан сказал ему: «Вот наш начальник, он не допустит, чтобы вы погибли в открытом море».

Заметив меня, незнакомец обратился ко мне по-английски, хотя и с иноземным выговором. «Прежде чем я взойду на ваш корабль, — молвил он, — не будете ли вы так добры сказать мне, куда держите путь?»

Можешь вообразить моё изумление при таком вопросе, обращённом ко мне человеком на самом краю гибели, — человеком, для которого, казалось бы, мой корабль должен был явиться спасением, не сравнимым ни с каким сокровищем земным. Я отвечал, однако, что мы держим путь к северному полюсу ради открытий.

Услышав это, он, казалось, остался доволен и согласился взойти на борт. Боже праведный, Маргарет! Если бы ты видела того, кто так торговался за собственное спасение, — изумлению твоему не было бы предела. Конечности его почти застыли от мороза, тело было страшно истощено усталостью и страданием. Никогда не доводилось мне видеть человека в столь плачевном состоянии. Мы попытались было перенести его в каюту, но стоило ему лишиться свежего воздуха, как он лишился и чувств. Тогда мы вынесли его снова на палубу и привели в себя, растирая бренди и понемногу вливая ему в рот. Едва он подал первые признаки жизни,

мы закутали его в одеяла и устроили близ печной трубы на камбузе. Мало-помалу он оправился и поел немного бульона, что удивительно подкрепило его силы.

Так прошло два дня, прежде чем он смог заговорить, и я не раз опасался, что перенесённые страдания лишили его рассудка. Когда он немного окреп, я перенёс его в собственную каюту и ухаживал за ним, насколько позволяли мне обязанности по кораблю. Никогда не встречал я существа более занимательного: во взгляде его почти всегда сквозит нечто дикое, почти безумное, — но порою, стоит кому-либо оказать ему хотя бы малейшую услугу, всё лицо его вдруг озаряется, точно лучом благожелательности и кротости, каких мне не доводилось видеть ни в ком другом. Но обычно он погружён в уныние и отчаяние и порой скрежещет зубами, будто не в силах долее сносить бремя обрушившихся на него бед.

Когда гость мой немного оправился, мне стоило немалого труда оградить его от матросов, желавших засыпать его тысячею вопросов; но я не позволил праздному их любопытству терзать человека, чьё выздоровление, и телесное и душевное, явно зависело от полного покоя. Однажды, впрочем, лейтенант спросил его, что заставило его забраться так далеко на льды в столь странном возке.

Лицо незнакомца в тот же миг омрачилось глубочайшей скорбью, и он отвечал: «Я искал того, кто бежал от меня».

— И тот, за кем вы гнались, путешествовал таким же образом?

— Да.

— Тогда, думаю, мы его видели, ибо накануне того дня, как подобрали вас, мы заметили собак, тащивших по льду сани, а в них человека.

Это пробудило живейшее внимание незнакомца, и он засыпал нас вопросами о том, каким путём следовал демон — так называл он преследуемого. Немного погодя, оставшись со мною наедине, он сказал: «Я, без сомнения, возбудил ваше любопытство, равно как и любопытство этих добрых людей; но вы слишком деликатны, чтобы расспрашивать меня».

— Разумеется; было бы поистине бестактно и бесчеловечно с моей стороны докучать вам своею пытливостью.

— И всё же вы спасли меня из странного и гибельного положения; вы милосердно возвратили меня к жизни.

Вскоре после этого он спросил, полагаю ли я, что ледоход погубил другие сани. Я отвечал, что не могу сказать с уверенностью, ибо лёд взломало лишь около полуночи, и путник, быть может, успел до того часа достичь безопасного места; но судить об этом я не берусь.

С этой поры новый дух жизни оживил угасающее тело незнакомца. Он выказывал величайшее нетерпение подняться на палубу и высматривать те давешние сани; но я убедил его оставаться в каюте, ибо он был ещё слишком слаб, чтобы вынести сырость здешнего воздуха. Я пообещал, что кто-нибудь будет нести дозор за него и тотчас известит его, коль скоро на горизонте покажется что-либо новое.

Таков мой дневник всего, что касается этого странного происшествия, по сей день. Незнакомец мало-помалу поправляется здоровьем, но чрезвычайно молчалив и, видимо, чувствует себя неловко, когда кто-либо, кроме меня, входит к нему в каюту. И всё же обхождение его так мягко и располагающе, что все матросы прониклись к нему участием, хотя почти и не разговаривали с ним. Что до меня, я начинаю любить его как брата, а его неизбывная, глубокая скорбь наполняет меня состраданием и жалостью. Должно быть, в лучшие свои дни это было существо благородное, если даже теперь, в развалинах своих, он так притягателен и мил.

В одном из писем я говорил тебе, милая Маргарет, что не найду друга на просторах океана; и всё же я обрёл человека, которого — не сломи его дух несчастье — я почёл бы счастьем иметь братом своего сердца.

Я стану время от времени продолжать этот дневник о моём незнакомце, если будет что записать нового.

13 августа 17.. года

Привязанность моя к гостю растёт с каждым днём. Он пробуждает во мне разом и восхищение, и жалость, дивную по силе своей. Как смотреть без острейшей скорби на то, как существо столь благородное гибнет, сломленное несчастьем? Он так кроток и вместе с тем так мудр; ум его так возделан, и, когда он говорит, слова его, хотя и избраны с изысканнейшим искусством, льются стремительно, с красноречием, не имеющим себе равных.

Ныне он значительно оправился от недуга и почти неотлучно проводит время на палубе, видимо, высматривая те сани, что предшествовали его собственным. И всё же, как ни несчастен он, собственное горе не поглощает его настолько, чтобы он не живо интересовался чужими замыслами. Он не раз заводил со мною разговор о моём предприятии, о коем я поведал ему без утайки. Он внимательно вникал во все мои доводы в пользу грядущего успеха, во всякую мелочь принятых мною мер к его обеспечению. Сочувствие, что светилось в нём, легко увлекло меня заговорить языком сердца, дать волю жгучему пылу души и сказать со всем жаром, что горел во мне, как охотно пожертвовал бы я своим состоянием, самой жизнью, всеми надеждами ради успеха моего предприятия. Жизнь ли, смерть ли одного человека — ничтожная плата за обладание знанием, коего я искал, за власть, которую я приобрёл бы и передал потомкам над стихийными врагами нашего рода. Пока я говорил, тёмная тень легла на лицо моего слушателя. Сперва я заметил, что он силится подавить волнение; он закрыл лицо руками, и голос мой дрогнул и осёкся, когда я увидел, как быстрые слёзы текут меж его пальцев; стон вырвался из его вздымающейся груди. Я умолк; наконец он заговорил, прерывистым голосом: «Несчастный! Разве и вы одержимы тем же безумием? Разве и вы испили того же хмельного зелья? Выслушайте же меня; дайте мне поведать вам мою повесть — и вы отшвырнёте чашу от губ своих!»

Слова эти, можешь себе представить, до крайности разожгли моё любопытство; но приступ скорби, овладевший незнакомцем, оказался не по силам его ослабевшему естеству, и потребовалось много часов покоя и тихой беседы, чтобы вернуть ему самообладание.

Одолев неистовство своих чувств, он, казалось, презирал себя за то, что стал рабом страсти; и, укротив мрачную тиранию отчаяния, вновь повёл со мною разговор — уже обо мне самом. Он спросил меня о моих ранних годах. Рассказ мой был недолог, но пробудил в нём разные думы. Я говорил о своём желании найти друга, о жажде более тесного сродства с родственной душою, какого не выпадало мне на долю прежде, и высказал убеждение, что человек, лишённый этого блага, едва ли может похвалиться подлинным счастьем.

— Согласен с вами, — отвечал незнакомец, — мы существа несовершенные, едва слепленные наполовину, если кто-нибудь мудрее, лучше, дороже нас самих — каким и должен быть подобный друг — не приложит руки к тому, чтобы довершить наши слабые, порочные натуры. Был у меня некогда друг, благороднейшее из человеческих созданий, и потому я вправе судить о дружбе. У вас есть надежда, и весь мир открыт перед вами, и нет у вас причин для отчаяния. Но я — я утратил всё и не могу начать жизнь заново.

Говоря это, он принял выражение тихой, застывшей скорби, тронувшей меня до глубины сердца. Но он умолк и вскоре удалился к себе в каюту.

Как ни сломлен он духом, никто не способен острее его чувствовать красоту природы. Звёздное небо, море, всякое зрелище, что дарят эти дивные края, всё ещё, кажется, властны возносить его душу над землёю. Такой человек живёт двойною жизнью: он может страдать, может быть сокрушён разочарованиями, — но, стоит ему уйти в себя, и он станет подобен небесному духу, окружённому сиянием, в круг которого не дерзнёт ступить ни горе, ни безумие.

Улыбнёшься ли ты тому восторгу, с каким я говорю об этом дивном скитальце? Не улыбнулась бы, если бы видела его сама. Книги и уединение утончили и воспитали твой вкус, и оттого ты несколько взыскательна; но именно это делает тебя способнее оценить необычайные

достоинства этого удивительного человека. Порою я пытался постичь, какое же свойство возносит его неизмеримо выше всех, кого я знал: думаю, это дар безошибочного, мгновенного суждения, некое прозрение в самую суть вещей, не имеющее равных по ясности и точности; прибавь к этому дар слова и голос, чьи переливы — музыка, покоряющая душу.

19 августа 17.. года

Вчера незнакомец сказал мне: «Вы легко можете видеть, капитан Уолтон, что я перенёс несчастья великие и беспримерные. Было время, когда я решил, что память об этих бедах умрёт вместе со мною; но вы склонили меня переменить это решение. Вы ищете знания и мудрости, как некогда искал их и я; и я горячо надеюсь, что исполнение ваших желаний не станет для вас тем змием, что ужалил меня. Не знаю, послужит ли вам на пользу повесть о моих несчастьях; но, размышляя о том, что вы идёте тем же путём, подвергая себя тем же опасностям, что сделали меня тем, кто я есть, я полагаю, что вы сумеете извлечь из моей повести уместный урок — урок, что направит вас в случае удачи и утешит в случае неудачи. Приготовьтесь услышать о событиях, какие обыкновенно почитают за чудесные. Будь мы среди более обжитых уголков природы, я, быть может, опасался бы встретить ваше недоверие, а то и насмешку; но в этих диких и таинственных краях многое покажется возможным из того, что вызвало бы смех у людей, незнакомых с вечно изменчивыми силами природы; и я не сомневаюсь, что самый ход моего рассказа несёт в себе внутреннее свидетельство истинности описываемых событий».

Можешь легко вообразить, сколь обрадовало меня это обещание, — и всё же я не мог допустить, чтобы он бередил свою скорбь, вновь переживая свои несчастья в рассказе. Я жаждал услышать обещанную повесть — отчасти из любопытства, отчасти же из горячего желания облегчить его участь, если это было бы в моих силах. Чувства эти я и выразил в своём ответе.

— Благодарю вас, — отвечал он, — за сочувствие, но оно напрасно; судьба моя почти свершилась. Я жду лишь одного события, а после обрету покой. Я понимаю ваше чувство, — продолжал он, заметив, что я хочу его прервать, — но вы заблуждаетесь, друг мой, если позволите мне так вас назвать; ничто не в силах переменить мой жребий; выслушайте мою повесть, и вы увидите, сколь неотвратимо он определён.

Затем он сказал, что начнёт свой рассказ на следующий день, когда я буду свободен. Обещание это исторгло у меня самую горячую благодарность. Я положил себе каждую ночь, когда не занят неотложными обязанностями, заносить на бумагу, по возможности его же словами, то, что он поведал мне за день. Если же дела помешают мне, я стану делать хотя бы заметки. Рукопись эта, без сомнения, доставит тебе величайшее удовольствие; но мне, знающему его и слышащему повесть из его собственных уст, — с каким волнением и сочувствием предстоит мне перечитывать её когда-нибудь после! Даже теперь, приступая к этому труду, я слышу, как звучит в ушах моих его полновзвучный голос; лучистые глаза его глядят на меня со всею своею печальной нежностью; я вижу, как поднимается в оживлении его исхудалая рука, меж тем как черты лица озаряются душою, что горит внутри. Странной и мучительной, должно быть, окажется его повесть, страшной — та буря, что обрушилась на славный корабль его судьбы и разбила его — вот так!

История Виктора Франкенштейна

Глава 1

Родом я женевец, и семья моя принадлежит к числу самых почтенных в этой республике. Предки мои долгие годы были советниками и синдиками, отец же мой не раз занимал государственные должности, снискав честь и уважение. Все, кто знал его, чттили его за неподкупность и неустанное радение об общественных делах. Молодые годы свои он всецело посвятил заботам об отечестве, и обстоятельства долгое время мешали ему рано вступить в брак: лишь на склоне лет стал он мужем и отцом семейства.

Обстоятельства этого брака так ярко раскрывают его нрав, что я не могу удержаться, чтобы не поведать о них. Одним из ближайших друзей отца был некий купец по имени Бофор, который из состояния процветающего, из-за череды несчастливых случайностей, впал в нищету. Человек этот, гордый и несгибаемый нравом, не в силах был сносить бедность и безвестность в том самом краю, где некогда блистал знатностью и роскошью. И вот, расплатившись с долгами самым честным образом, он удалился с дочерью в город Люцерн, где влачил неведомое, горестное существование. Отец мой любил Бофора истинной, преданной дружбой и глубоко скорбел о том, что тот удалился при столь злополучных обстоятельствах. Он горько сетовал на ложную гордость, толкнувшую друга на поступок, столь недостойный связывавшей их приязни, и не мешкая принялся его разыскивать, надеясь убедить начать жизнь заново — своим кредитом и своей помощью.

Бофор предпринял всё, чтобы скрыться надёжно, и минуло десять месяцев, прежде чем отец мой отыскал его пристанище. Вне себя от радости, он поспешил к дому, стоявшему на убогой улочке близ Ройсса. Но, войдя, встретил там одну лишь нищету и отчаяние. От крушения своего состояния Бофору удалось сберечь лишь скудную сумму — довольно, чтобы прокормиться несколько месяцев, а меж тем он надеялся сыскать себе пристойное место в каком-нибудь торговом доме. Однако время это прошло в бездействии; горе его, чем больше досуга оставалось у него для раздумий, тем глубже язвило душу, и наконец завладело им столь безраздельно, что через три месяца он слёг на одре болезни, лишённый сил к какому бы то ни было труду.

Дочь ходила за ним с величайшей нежностью, но с отчаянием видела, как быстро тает их скудный запас, а иных средств к жизни не предвиделось. Но Каролина Бофор была натурой необычайной, и мужество её лишь укрепилось в невзгодах. Она бралась за простую работу, плела соломенные изделия и всеми способами ухитрялась добывать гроши, едва достаточные для того, чтобы не умереть с голоду.

Так прошло несколько месяцев. Отцу становилось хуже; всё время её уходило на уход за ним; средства к существованию таяли; и на десятый месяц отец скончался у неё на руках, оставив её сиротой и нищенкой. Этот последний удар сломил её, и она стояла на коленях у гроба Бофора, горько плача, когда в комнату вошёл мой отец. Он явился к бедной девушке точно ангел-хранитель, и она вверила себя его попечению; похоронив друга, он отвёз её в Женеву и поручил заботам одной из своих родственниц. Два года спустя Каролина стала его женою.

Между годами моих родителей была немалая разница, но это обстоятельство, казалось, лишь теснее связало их узами преданной любви. Возвышенная справедливость отцовской натуры требовала, чтобы прежде глубоко полюбить, он глубоко одобрил предмет своей любви. Быть может, в былые годы он и пострадал от позднего разочарования в ком-то любимом, и оттого научился выше ценить достоинство испытанное. В его привязанности к матери моей сквозило нечто похожее на благодарность и благоговение, вовсе не схожее с немощной нежностью старости, ибо порождено оно было почитанием её добродетелей и желанием хоть в малой мере вознаградить её за пережитые страдания, — и это придавало его обхождению с нею невыразимое изящество. Всё делалось в угоду её желаниям и удобству; он стремился оберечь её,

точно садовник оберегает редкостный цветок, от всякого сурового ветра, окружить всем, что могло бы пробудить отраду в её кроткой, благожелательной душе. Здоровье её, да и самое спокойствие духа, дотоле неизменное, было поколеблено пережитыми испытаниями. В течение двух лет, предшествовавших браку, отец постепенно слагал с себя все общественные обязанности, и тотчас после свадьбы они устремились в благодатный климат Италии, полагая перемену мест и впечатлений, что дарит путешествие по этой стране чудес, лучшим лекарством для её ослабевшего здоровья.

Из Италии они посетили Германию и Францию. Я, их первенец, родился в Неаполе и с младенчества сопровождал их в странствиях. Долгие годы я оставался их единственным чадом. Как ни привязаны были они друг к другу, казалось, они черпали из неистощимой сокровищницы любви и на меня — так щедро изливалась она на меня. Нежные ласки матери и отцовская улыбка, полная доброго довольства при взгляде на меня, — вот первые мои воспоминания. Я был их игрушкой и их кумиром, и чем-то ещё более драгоценным — их ребёнком, невинным, беспомощным созданием, дарованным им Небесами, которое надлежало вести к добру и чью будущую участь — счастливую либо горестную — им предстояло направить, смотря по тому, как исполнят они свой долг предо мною. Столь глубокое сознание того, чем они обязаны существу, коему сами даровали жизнь, вкупе с живой нежностью, что одушевляла обоих, — можно вообразить, что, хотя каждый час моего младенчества преподавал мне урок терпения, милосердия и самообладания, вела меня при этом шёлковая нить, так что вся жизнь моя казалась мне единой чередой отрад.

Долгое время я был их единственной заботой. Матери моей очень хотелось иметь дочь, но я так и остался их единственным чадом. Когда мне было около пяти лет, во время поездки за пределы Италии, родители провели неделю на берегах озера Комо. Доброта их нрава часто вела их в хижины бедняков — для матери моей это было более чем долгом: это было потребностью, страстью — памятуя о том, что сама она претерпела и как была избавлена от бед, — самой сделаться в свой черёд ангелом-хранителем для страждущих. Во время одной из прогулок их внимание привлекла бедная хижина в изгибе долины, поразившая их особенной запущенностью, меж тем как толпившиеся вокруг полуодетые дети говорили о нищете в самом её горестном обличье. Однажды, когда отец отправился один в Милан, мать моя вместе со мною посетила это жилище. Она застала там крестьянина с женою, изнурённых трудом и заботой, делящих скудную трапезу меж пятью голодными малютками. Среди них было одно дитя, привлёкшее внимание матери моей более прочих. Казалось, она иного рода: прочие четверо были темноглазыми, крепкими маленькими бродяжками, тогда как эта девочка была хрупка и удивительно светла. Волосы её отливали ярчайшим живым золотом и, несмотря на убожество одежды, казались венцом, отличавшим её ото всех. Чело её было ясным и открытым, синие глаза — безоблачны, а губы и черты лица столь выразительны чувствительностью и кротостью, что никто не мог взглянуть на неё, не признав в ней существо особой породы, небом посланное, отмеченное на самом лице печатью горнего мира.

Крестьянка, заметив, что мать моя не сводит с прелестной девочки взгляда, полного изумления и восхищения, охотно поведала её историю. Не её то была дочь, а дитя миланского дворянина. Мать девочки, немка родом, умерла родами. Младенца отдали на попечение этим добрым людям — тогда они жили не в такой нужде. Женаты они были недавно, и первый их ребёнок только что появился на свет. Отец же вверенной их заботам девочки принадлежал к числу тех итальянцев, что вскормлены памятью о древней славе Италии, — из числа тех вечно негодующих рабов, что боролись за свободу отчизны; он пал жертвою её слабости. Умер ли он или всё ещё томится в австрийских темницах — того не знали. Имущество его было конфисковано, дитя осталось сиротой и нищенкой. Она осталась у приёмных родителей и расцветала в их убогом жилище, прекраснее садовой розы среди тёмных зарослей терновника.

Когда отец возвратился из Милана, он застал в зале нашей виллы дитя, играющее со мною, — прекраснее нарисованного херувима, — существо, от чьего взора, казалось, исходило сияние и чьи движения были легче горного серна. Видение это вскоре получило объяснение. С его согласия мать моя убедила простодушных опекунов уступить ей своё дитя. Они любили милую сиротку; присутствие её казалось им благословением, — но было бы несправедливо по отношению к ней держать её в нищете и нужде, когда само Провидение послало ей столь могущественную защиту. Они посоветовались с деревенским священником, и в итоге Элизабет Лавенца поселилась в доме моих родителей — более чем сестра мне, — прекрасная, обожаемая спутница всех моих занятий и всех моих радостей.

Все любили Элизабет. Страстная, почти благоговейная приязнь, с какою относились к ней все, стала — покуда я разделял её — моей гордостью и моей отрадой. Накануне того дня, как её привели к нам в дом, мать моя сказала в шутку: «Есть у меня для моего Виктора прекрасный подарок — завтра он его получит». И когда на завтра она преподнесла мне Элизабет как обещанный дар, я с детской серьёзностью понял её слова буквально и стал смотреть на Элизабет как на своё достояние — своё, чтобы беречь, любить и лелеять. Всякую похвалу, ей расточаемую, я принимал так, будто хвалили нечто моё собственное. Мы называли друг друга по-родственному — кузиной и кузеном. Но никакое слово, никакое выражение не в силах были передать истинную природу той связи, что соединяла нас, — более чем сестра, ибо до самой смерти суждено ей было быть только моею.

Глава 2

Мы росли вместе; разница в годах наших не достигала и года. Нет нужды говорить, что нам вовсе не были знакомы ни раздор, ни ссоры какого бы то ни было рода. Согласие было душою нашего содружества, а несходство и контраст наших натур лишь теснее сближали нас. Элизабет была нрава более спокойного и сосредоточенного, но я, при всей своей пылкости, был способен на занятия более упорные и глубже был поражён жаждою знания. Она любила следовать за воздушными творениями поэтов; в величественных и дивных картинах, окружавших наш швейцарский дом, — в горделивых очертаниях гор, в смене времён года, в буре и штиле, в безмолвии зимы и в буйной, кипучей жизни альпийского лета — находила она обширное поле для восхищения и отрады. Покуда подруга моя созерцала эти великолепные явления с серьёзным и умиротворённым духом, я находил наслаждение в разгадывании их причин. Мир был для меня тайною, которую мне хотелось постичь. Любопытство, упорное стремление познать сокровенные законы природы, радость, почти равная восторгу, при каждом их раскрытии, — вот те чувства, что я помню одними из самых ранних.

С рождением второго сына, что был моложе меня на семь лет, родители мои окончательно оставили свою скитальческую жизнь и обосновались на родине. У нас был дом в Женеве и загородное имение в Бельриве, на восточном берегу озера, чуть более лиги от города. Жили мы главным образом в последнем, и жизнь моих родителей протекала в немалом уединении. По природе своей я избегал толпы и всей душою привязывался лишь к немногим. Оттого к школьным товарищам в целом я был равнодушен, но с одним из них связала меня теснейшая дружба. Генри Клерваль был сыном женевского купца, мальчиком редкостной одарённости и воображения. Он любил приключения, лишения и даже опасность самое по себе; зачитывался книгами о рыцарстве и романах, слагал героические песни и принимался писать нескончаемые повести о волшебстве и рыцарских подвигах. Он старался вовлечь нас в разыгрывание пьес и в маскарады, где действующими лицами были герои Ронсевалея, рыцари Круглого стола короля Артура и вся та доблестная рать, что проливала кровь свою, дабы отвоевать Гроб Господень из рук неверных.

Едва ли какому человеку выпадало на долю детство счастливее моего. Родители мои были воплощением доброты и снисходительности. Мы чувствовали, что они не тираны, правящие нашей судьбою по прихоти своей, но податели и творцы всех тех бесчисленных радостей, коими мы наслаждались. Общаясь с другими семьями, я ясно постигал, сколь необычайно счастлив был мой удел, и благодарность лишь укрепляла во мне сыновнюю любовь.

Нрав мой бывал порою неистов, страсти — пылки; но в силу некоего внутреннего закона моей природы они обращались не к детским забавам, а к жгучему стремлению к знанию — и не ко всякому знанию без разбора. Признаюсь, ни строение языков, ни своды законов, ни политика различных государств не привлекали меня нимало. Мне желанно было постичь тайны неба и земли; и занимала ли меня внешняя оболочка вещей или внутренний дух природы и таинственная душа человека — так или иначе, поиски мои неизменно устремлялись к метафизическим, а в высшем своём значении — к физическим тайнам мироздания.

Клерваль же занимался, если можно так выразиться, нравственными отношениями вещей. Кипучая арена жизни, доблести героев, деяния людей — вот что было его предметом; и надеждой его, и мечтою было сделаться одним из тех, чьи имена вписаны в летописи как доблестных и отважных благодетелей человеческого рода. Святая душа Элизабет сияла в мирном нашем доме, точно лампада у алтаря. Сочувствие её принадлежало нам обоим; улыбка её, нежный голос, кроткий взгляд её небесных глаз — всё это неизменно было тут, дабы благословлять и одушевлять нас. Она была живым духом любви, смягчающим и притягивающим сердца: сама я, быть может, сделался бы угрюм в своих занятиях, огрубел бы от жара собственной натуры,

если бы не она — усмирявшая меня подобием собственной кротости. А Клерваль — могло ли что дурное коснуться благородной его души? И всё же, быть может, не был бы он столь безупречно человечен, столь заботлив в своём великодушии, столь полон доброты и нежности среди самой своей страсти к отважным подвигам, если бы не она открыла ему истинную прелесть благотворения и не сделала деяние добра целью и венцом его окрылённого честолюбия.

Я испытываю истинное наслаждение, задерживаясь мыслью на воспоминаниях детства, прежде чем несчастье омрачило мой разум и обратило его светлые видения широкого служения людям в мрачные, тесные раздумья о себе самом. К тому же, рисуя картину ранних моих дней, я заодно запечатлеваю и те события, что незримыми шагами привели меня к дальнейшей повести моих бедствий: ибо, когда я пытаюсь объяснить себе рождение той страсти, что после стала властвовать над моей судьбою, я вижу, как она берёт начало, подобно горному потоку, из истоков ничтожных и почти забытых, — но, разрастаясь по пути, становится тем бурным потоком, что смёл, увлекая за собою, все мои надежды и радости.

Естественная философия — вот тот гений, что определил мою участь; посему я желаю в этом повествовании изложить те обстоятельства, что привели меня к пристрастию именно к этой науке. Когда мне было тринадцать лет, мы всей семьёю отправились на увеселительную поездку к купальням близ Тонона; ненастная погода вынудила нас на целый день остаться взаперти в гостинице. В этом доме мне случайно попался в руки том сочинений Корнелия Агриппы. Я раскрыл его равнодушно; но теория, которую он пытается доказать, и удивительные факты, которые он приводит, скоро обратили это равнодушие в восторг. Казалось, новый свет забрезжил в моём сознании, и, вне себя от радости, я поспешил поделиться своим открытием с отцом. Отец бросил небрежный взгляд на заглавие книги и сказал: «А, Корнелий Агриппа! Милый Виктор, не трать на это время — это жалкий вздор».

Если бы вместо этого замечания отец дал себе труд объяснить мне, что принципы Агриппы давно опровергнуты, что явилась новая система знания, обладающая куда большей силою, нежели древняя, — ибо сила последней была призрачна, тогда как сила новой реальна и действительна, — при таких обстоятельствах я, без сомнения, отбросил бы Агриппу и удовлетворил бы своё разгорячённое воображение, вернувшись с ещё большим рвением к прежним занятиям. Быть может, самый ход моих мыслей никогда не получил бы того рокового толчка, что привёл меня к гибели. Но беглый взгляд, брошенный отцом на мою книгу, никоим образом не убедил меня, что он знаком с её содержанием, и я продолжал читать с величайшей жадностью.

Возвратившись домой, первой моей заботой было раздобыть все сочинения этого автора, а затем — Парацельса и Альберта Великого. Я читал и изучал дикие фантазии этих писателей с наслаждением; они казались мне сокровищем, ведомым немногим, кроме меня самого. Я уже говорил, что всегда был одержим жгучим стремлением проникнуть в тайны природы. Несмотря на упорный труд и удивительные открытия новейших философов, я неизменно выходил из своих занятий недовольным и неудовлетворённым. Говорят, сэр Исаак Ньютон признавался, что чувствует себя ребёнком, собирающим ракушки на берегу великого, неисследованного океана истины. Все его преемники в каждой из отраслей естественной философии, с чьими трудами я был знаком, казались даже моему отроческому разумению не более чем новичками на том же поприще.

Простой, неучёный крестьянин видел вокруг себя стихии и знал их практическое применение. Учёнейший философ знал немногим больше. Он лишь отчасти приподнял покров с лица Природы, но бессмертные её черты по-прежнему оставались чудом и тайной. Он мог рассекать, препарировать, давать имена, — но, не говоря уже о конечной причине, причины второго и третьего порядка оставались для него совершенно неведомы. Я взирал на укрепления и преграды, что, казалось, не подпускали людей к самой цитадели природы, и, по неразумию и дерзости своей, роптал на них.

Но здесь были книги, здесь были люди, проникшие глубже и знавшие больше. Я принимал на веру всё, что они утверждали, и сделался их учеником. Может показаться странным, что такое случилось в восемнадцатом столетии; но покуда я следовал обычному ходу обучения в женевских школах, в занятиях, наиболее мне милых, я оставался по большей части самоучкой. Отец мой не был человеком науки, и мне пришлось биться в потёмках — с детской слепотою, помноженной на жажду познания, свойственную юному исследователю. Под водительством моих новых наставников я с величайшим усердием предавался поискам философского камня и эликсира жизни; впрочем, последний скоро завладел всем моим вниманием безраздельно. Богатство представлялось мне целью низменной, — но какая слава ждала бы меня, изгони я болезнь из человеческого тела и сделай человека неуязвимым для всякой смерти, кроме насильственной!

И это были не единственные мои видения. Вызывание духов и демонов сулили мне в изобилии любимые мои авторы, и я с величайшим рвением искал исполнения этого обещания; и если заклинания мои неизменно оставались тщетными, я приписывал неудачу собственной неопытности и ошибкам, а вовсе не недостатку искусства или правдивости моих наставников. И так на время я оказался поглощён давно опровергнутыми системами, смешивая, точно неумелый ученик, тысячу противоречивых теорий и отчаянно барахтаясь в настоящей трясине разнородного знания, влекомый пылким воображением и детским рассудком, — покуда новый случай вновь не переменял течение моих мыслей.

Когда мне было около пятнадцати лет, мы удалились в наш дом близ Бельрива и стали свидетелями грознейшей, страшнейшей грозы. Она надвигалась из-за гор Юра, и гром грянул разом, с ужасающей силою, со всех сторон небосвода. Покуда буря длилась, я стоял и следил за её ходом с любопытством и восторгом. Стоя у дверей, я вдруг увидел, как из старого, прекрасного дуба, что рос ярдах в двадцати от нашего дома, вырвался поток огня; и едва слепящий свет угас, дуба уже не было — осталась лишь обугленная кулья. Наутро, придя взглянуть на него, мы обнаружили, что дерево разбито самым странным образом: не расщеплено ударом, но целиком обращено в тонкие деревянные ленты. Никогда не доводилось мне видеть ничего, разрушенного столь полно.

До этого случая мне были не вовсе чужды простейшие законы электричества. При этом происшествии с нами оказался человек, немало сведущий в естественной философии, и, взволнованный этой катастрофой, он принялся излагать сложившуюся у него теорию электричества и гальванизма — теорию, для меня столь же новую, сколь и поразительную. Всё сказанное им ввергло в тень Корнелия Агриппу, Альберта Великого и Парацельса, дотоле властвовавших над моим воображением; но по какой-то роковой прихоти низвержение этих кумиров отвратило меня и от привычных моих занятий вовсе. Мне представилось, будто ничто никогда не может и не будет познано. Всё, что так долго занимало моё внимание, вдруг сделалось мне ничтожным. Одной из тех причуд рассудка, каким мы всего более подвержены в ранней юности, я разом оставил прежние свои занятия, счёл всю естественную историю и всё её потомство уродливым, недоношенным творением и преисполнился величайшего презрения к мнимой науке, что не в силах была даже переступить порог истинного знания. В этом расположении духа я обратился к математике и смежным с нею областям знания, как к наукам, возведённым на прочном основании, а потому достойным моего внимания.

Так странно устроены наши души и такими тонкими нитями привязаны мы либо к благополучию, либо к гибели! Оглядываясь назад, я и теперь склонен думать, что эта почти чудесная перемена в моих склонностях и воле была внушена мне самим хранителем-ангелом моей жизни — последним усилием духа-охранителя отвратить бурю, что уже нависала тогда в звёздах, готовая обрушиться на меня. Победа её возвестила о себе необычайным спокойствием и отрадою души, последовавшими за тем, как я оставил прежние, ставшие уже мучительными

занятия. Так суждено было мне научиться связывать зло с их продолжением, а счастье — с отказом от них.

То было мощное усилие духа добра — но тщетное. Судьба оказалась сильнее, и её неотвратимые законы обрекли меня на полную и страшную погибель.

Глава 3

Когда мне минуло семнадцать лет, родители решили, что мне надлежит поступить в Ингольштадтский университет. Прежде я учился в женеvских школах, но отец полагал необходимым для завершения моего образования познакомиться меня и с иными нравами, нежели те, что царили на родине. Отъезд мой был назначен на самое ближайшее время; но прежде чем настал условленный день, случилось первое несчастье в моей жизни — предвестие, как оказалось, всех моих будущих бедствий.

Элизабет заболела скарлатиной; болезнь протекала тяжело, и жизнь её была в величайшей опасности. Пока она хворала, мать мою всячески уговаривали не ходить за нею. Поначалу она уступала нашим мольбам, но, услышав, что жизни её любимицы грозит опасность, уже не могла совладать со своей треvгой. Она села у постели больной; неусыпные заботы её одолели злокачественную хворь — Элизабет была спасена, но последствия этой неосторожности оказались роковыми для её спасительницы. На третий день слегла и мать; лихорадка её сопровождалась самыми тревожными признаками, и по лицам врачей нетрудно было прочесть худшее. На смертном одре стойкость и доброта этой лучшей из женщин не оставили её. Она соединила руки мои и Элизабет. «Дети мои, — сказала она, — самые твёрдые мои надежды на будущее счастье покоились на мысли о вашем союзе. Теперь эта надежда станет утешением для вашего отца. Элизабет, милая моя, тебе придётся заменить меня младшим детям. Увы! Мне жаль расставаться с вами; счастливая и любимая, как я была, — разве не тяжело покидать вас всех? Но не подобает мне предаваться таким мыслям; я постараюсь покориться смерти с бодрым духом и утешу себя надеждой на встречу с вами в ином мире».

Она скончалась спокойно, и даже в смерти лицо её хранило выражение любви. Не стану описывать чувства тех, чьи самые дорогие узы разорваны этим непоправимым злом, — пустоту, что разверзается в душе, отчаяние, что проступает на лице. Долго ещё не в силах разум примириться с тою мыслью, что та, кого мы видели ежедневно и чьё самое бытие казалось частью нашего собственного, ушла навеки, — что сияние любимого взора угасло, а звук голоса, столь знакомого и дорогого слуху, умолк, чтобы не прозвучать больше никогда. Таковы размышления первых дней; но когда истечение времени подтверждает подлинность утраты, тогда лишь начинается настоящая горечь скорби. И всё же чья рука не была так же беспощадно разлучена с дорогим ей существом? К чему описывать горе, что все испытали и всем ещё предстоит испытать? Приходит наконец пора, когда скорбь становится не необходимостью, а лишь позволительной слабостью; и улыбка, играющая на губах, хотя иным и покажется кощунством, уже не изгоняется вовсе. Мать моя умерла, но нам оставались обязанности, кои надлежало исполнять; должно было продолжать путь свой вместе с прочими и учиться почитать себя счастливыми, покуда хоть один из близких оставался не тронут похитителем.

Отъезд мой в Ингольштадт, отложенный этими событиями, был вновь назначен. Я испросил у отца отсрочки на несколько недель. Казалось мне кощунством так скоро покинуть покой, сродни смертному, дома, объятого трауром, и ринуться в самую гущу жизни. Скорбь была мне внове, но от того не менее страшила. Мне не хотелось расставаться с теми, кто ещё оставался со мною, и более всего желал я видеть милую свою Элизабет хоть сколько-нибудь утешенной.

Она и вправду скрывала своё горе и старалась стать утешительницей для всех нас. Она твёрдо смотрела в лицо жизни и приняла на себя её обязанности с мужеством и рвением. Она посвятила себя заботам о тех, кого приучена была звать дядею и кузенами. Никогда не была она так пленительна, как в это время, вновь и вновь даря нам солнечный свет своих улыбок. Даже собственную скорбь забывала она, стремясь заставить забыть о ней и нас.

Наконец настал день моего отъезда. Клерваль провёл с нами последний вечер. Он пытался убедить отца отпустить его вместе со мною, стать моим товарищем по учению, но

тището: отец его, ограниченный торгаш, видел в устремлениях и честолюбии сына лишь праздность и погибель. Генри глубоко чувствовал горечь этого отказа от широкого образования; он говорил мало, но, когда говорил, в зажёгшемся взоре его и оживлённом взгляде я читал сдержанную, но твёрдую решимость не быть навек прикованным к жалким подробностям торгового дела.

Мы засиделись допоздна. Мы не в силах были оторваться друг от друга, не в силах были заставить себя произнести слово «прощай!» Наконец оно было сказано, и мы разошлись, будто бы на отдых, каждый притворяясь, что обманул другого; но когда на рассвете я спустился к карете, что должна была увезти меня, все они были там — отец, чтобы вновь благословить меня, Клерваль, чтобы ещё раз пожать мне руку, моя Элизабет, чтобы вновь просить меня писать почаще и оказать последние, по-женски заботливые услуги своему товарищу детских игр и другу.

Я бросился в дорожный возок, что должен был увезти меня, и предался самым унылым размышлениям. Я, кого всегда окружали милые сердцу друзья, кто постоянно был занят тем, чтобы доставлять и получать взаимную радость, — теперь оставался один. В университете, куда лежал мой путь, мне предстояло самому обрести друзей и самому быть своим покровителем. Жизнь моя до сих пор протекала на редкость замкнуто, по-домашнему, и это внушило мне непреодолимую неприязнь к новым лицам. Я любил братьев, Элизабет, Клерваля — это были «старые, знакомые лица»; но чувствовал себя совершенно не приспособленным к обществу чужих людей. Таковы были мои размышления в начале пути; но по мере продвижения дух мой и надежды воспрянули. Я жгуче желал обретения знания. Дома мне не раз казалось тяжким весь свой юный век оставаться запертым в одном месте, и я жаждал войти в мир и занять своё место среди прочих людей. Ныне желания мои исполнялись, и было бы, воистину, безумием о том жалеть.

Достаточно досуга было у меня для этих и множества иных размышлений во время долгого, утомительного пути в Ингольштадт. Наконец высокий белый шпиль города открылся моим глазам. Я сошёл с экипажа, и меня проводили в одинокое моё жилище, где я мог провести вечер по своему усмотрению.

Наутро я вручил свои рекомендательные письма и нанёс визиты нескольким главным профессорам. Случай — или, вернее, злой умысел, тот Ангел Разрушения, что обрёл над мной неограниченную власть с той самой минуты, как я неохотно ступил за порог отчего дома, — привёл меня первым делом к господину Кремпе, профессору натуральной философии. Это был человек неотёсанный, но глубоко сведущий в тайнах своей науки. Он задал мне несколько вопросов о моих познаниях в различных областях, относящихся к натуральной философии. Я отвечал небрежно и не без некоторого презрения назвал имена своих алхимиков как главных авторов, коих изучал. Профессор уставился на меня. «Неужели, — сказал он, — вы и в самом деле тратили время на изучение подобной чепухи?»

Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, — продолжал г-н Кремпе с жаром, — каждое мгновение, потраченное вами на эти книги, потеряно совершенно и безвозвратно. Вы отягчили свою память давно опровергнутыми системами и бесполезными именами. Боже милостивый! В какой же глуши вы жили, что никто не потрудился сообщить вам, будто эти фантазии, столь жадно вами усвоенные, — тысячелетней давности и столь же затхлы, сколь и стары? Не ожидал я в наш просвещённый, научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Милостивый государь, вам необходимо начать своё образование совершенно заново».

С этими словами он отошёл в сторону и записал для меня перечень нескольких сочинений по натуральной философии, которые советовал приобрести, а затем отпустил меня, упомянув, что в начале следующей недели намерен начать курс лекций по натуральной философии вообще, а его коллега, г-н Вальдман, станет по очереди с ним читать лекции по химии.

Я возвратился домой не разочарованным, ибо, как уже говорил, давно считал бесполезными тех авторов, коих порицал профессор; но вернулся я вовсе не более расположенным вновь обратиться к подобным занятиям в каком бы то ни было виде. Г-н Кремпе был низкорослым, коренастым человечком с грубым голосом и неприятной наружностью; таким образом, самый его облик не располагал меня в пользу его науки. В несколько, быть может, чрезмерно философическом и связном изложении я поведал о тех выводах, к которым пришёл в юности касательно этих сочинений. Ещё ребёнком я не был удовлетворён теми результатами, что сулили современные наставники естественных наук. По путанице понятий, объяснимой единственно моею крайней молодостью и отсутствием наставника в подобных предметах, я вновь и вновь возвращался вспять по стезям знания и обменивал открытия новейших исследователей на грёзы забытых алхимиков. К тому же я презирал самые цели современной натуральной философии. Иное дело было, когда мастера этой науки искали бессмертия и власти; такие устремления, сколь ни тщетны, были величественны; но теперь картина изменилась. Честолюбие исследователей, казалось, ограничивалось уничтожением тех самых видений, на коих зиждился весь мой интерес к науке. От меня требовали променять химеры безграничного величия на действительность, стоившую немногого.

Таковы были мои размышления в первые два или три дня пребывания в Ингольштадте, ушедшие главным образом на то, чтобы освоиться с местностью и главными обитателями моего нового жилища. Но с наступлением следующей недели я вспомнил о сведениях, что сообщил мне г-н Кремпе касательно лекций. И хотя я не мог заставить себя пойти и слушать, как этот самодовольный человечек изрекает истины с кафедры, я вспомнил его слова о г-не Вальдмане, коего никогда не видел, ибо тот до сих пор отсутствовал в городе.

Отчасти из любопытства, отчасти от безделья я вошёл в лекционный зал, куда вскоре после меня вступил и г-н Вальдман. Этот профессор был совершенно непохож на своего коллегу. С виду ему было лет пятьдесят, но облик его дышал величайшей благожелательностью; редкие седые пряди покрывали виски, тогда как на затылке волосы оставались почти чёрными. Ростом он был невысок, но держался на диво прямо, а голос его был сладчайшим из всех, что мне доводилось слышать. Лекцию свою он начал с обзора истории химии и различных усовершенствований, внесённых разными учёными мужами, с жаром произнося имена самых выдающихся первооткрывателей. Затем он бегло обозрел нынешнее состояние науки и разъяснил многие из её основных понятий. Прodelав несколько предварительных опытов, он завершил лекцию похвальным словом современной химии, слова коего я не забуду никогда:

«Древние наставники этой науки, — говорил он, — сулили невозможное и не свершили ничего. Современные же мастера сулят немногое; они знают, что металлы не могут быть превращены друг в друга и что эликсир жизни — химера; но эти философы, чьи руки словно созданы для того лишь, чтобы копаться в грязи, а глаза — глядеть в микроскоп или тигель, поистине сотворили чудеса. Они проникают в тайники природы и показывают, как она действует в своих сокровеннейших уголках. Они восходят к самим небесам; они открыли, как обращается кровь и какова природа воздуха, коим мы дышим. Они обрели силы новые, почти безграничные; они повелевают небесными громами, подражают землетрясению и даже насмеются над незримым миром его же собственными тенями».

Таковы были слова профессора — скорее, скажу я, слова самой судьбы, изречённые на мою погибель. Покуда он говорил, мне казалось, будто душа моя борется с неким осязаемым врагом; одна за другой звучали струны, из коих составлен был механизм моего существа; аккорд следовал за аккордом, и вскоре разум мой оказался всецело охвачен одною мыслью, одним замыслом, одной целью. «Так много уже сделано, — воскликнула душа Франкенштейна, — но я свершу больше, много больше; идя по уже проложенным путям, я проложу новый, я исследую неведомые силы и открою миру глубочайшие тайны творения».

В ту ночь я не сомкнул глаз. Всё внутреннее существо моё пребывало в состоянии мятежа и смятения; я чувствовал, что из этого хаоса непременно родится порядок, но не в силах был создать его сам. Мало-помалу, уже после рассвета, ко мне пришёл сон. Проснувшись, я обнаружил, что вчерашние мои мысли кажутся сновидением; осталась лишь решимость вернуться к прежним своим занятиям и посвятить себя науке, к коей я, как мне казалось, имел прирождённую склонность. В тот же день я посетил г-на Вальдмана. Наедине манеры его были ещё мягче и привлекательнее, нежели на кафедре, ибо некая величавость, свойственная ему на лекции, дома сменялась величайшей приветливостью и добротою. Я поведал ему почти то же самое о своих прежних занятиях, что и его коллеге. Он с вниманием выслушал мой недолгий рассказ и улыбнулся именам Корнелия Агриппы и Парацельса, но без того презрения, что выказал г-н Кремпе. Он сказал, что «этим людям, неутомимому их рвению, современные философы обязаны большею частью оснований своего знания. Они оставили нам, как задачу более лёгкую, лишь давать новые имена и упорядочивать в стройные системы те факты, что были в значительной мере обязаны своим открытием именно им. Труды гениев, сколь бы ошибочно они ни были направлены, почти никогда не остаются в конечном счёте бесполезными для человечества». Я выслушал эту речь, произнесённую без всякой самонадеянности или рисовки, и добавил, что лекция его рассеяла мои предубеждения против современных химиков; я выразился сдержанно, со скромностью и почтением, приличествующими юноше перед наставником, не давая воли (неопытность заставила бы меня устыдиться этого) той пылкости, что воодушевляла меня в предстоящих трудах. Я попросил у него совета относительно книг, которые следовало бы приобрести.

«Я счастлив, — сказал г-н Вальдман, — обрести ученика; и если усердие ваше равно вашим способностям, я не сомневаюсь в вашем успехе. Химия — та отрасль натуральной философии, в коей достигнуты и могут быть достигнуты величайшие успехи; именно поэтому я избрал её своим особым предметом; но при этом я не пренебрегал и иными отраслями науки. Плохим химиком станет тот, кто ограничится одной лишь этой областью знания. Если желание ваше — сделаться истинным человеком науки, а не мелким экспериментатором, я советовал бы вам обратиться ко всем отраслям натуральной философии, включая математику».

Затем он провёл меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов, наставляя, что мне следует приобрести, и обещая доступ к собственным его приборам, когда я довольно преуспею в науке, чтобы не повредить их механизма. Он также дал мне список книг, о котором я просил, и я удалился.

Так завершился день, памятный для меня; он решил мою будущую судьбу.

Глава 4

С этого дня натуральная философия и в особенности химия, в самом широком значении этого слова, сделались почти единственным моим занятием. Я с жаром читал сочинения, полные гения и проницательности, что новейшие исследователи посвятили этим предметам. Я посещал лекции и заводил знакомства с учёными мужами университета и даже в г-не Кремпе обнаружил немало здравого смысла и подлинных познаний, соединённых, правда, с отталкивающей наружностью и манерами, но от того не менее ценных. В г-не Вальдмане я обрёл истинного друга. Мягкость его никогда не была окрашена догматизмом, а наставления его давались с такой откровенностью и добродушием, что всякая мысль о педантизме отступала прочь. Тысячею способов он сглаживал для меня путь к знанию и делал самые сложные вопросы ясными и доступными моему разумению. Прилежание моё поначалу было неровным, неустойчивым; но постепенно оно крепло, и вскоре сделалось столь жарким и неустанным, что звёзды нередко гасли в свете утра, покуда я всё ещё трудился в своей лаборатории.

При таком усердии нетрудно представить, сколь быстрыми были мои успехи. Пыл мой поистине изумлял студентов, а искусность — наставников. Профессор Кремпе часто спрашивал меня с лукавой усмешкой, как поживает Корнелий Агриппа, тогда как г-н Вальдман выражал самое сердечное ликование по поводу моих успехов. Так прошло два года, в течение коих я ни разу не побывал в Женеве, всецело, душою и телом, поглощённый поисками неких открытий, кои надеялся совершить. Лишь тот, кто сам это испытал, способен постичь всю обольстительность науки. В прочих занятиях доходишь до предела, положенного тем, кто прошёл этот путь прежде тебя, и постигать более нечего; но в научном поиске всегда сыщется новая пища для открытия и изумления. Ум средних способностей, упорно занятый одним предметом, неминуемо достигнет в нём великого искусства; а я, неотступно стремясь к одной цели и весь поглощённый ею, преуспел столь стремительно, что к концу двух лет сделал несколько усовершенствований в химических приборах, снискавших мне немалое уважение и восхищение в университете. Достигнув этой ступени и постигнув теорию и практику натуральной философии настолько, насколько мог научить меня любой из профессоров Ингольштадта, я почувствовал, что пребывание здесь более не способствует моему развитию, и стал подумывать о возвращении к друзьям, на родину, — когда случилось происшествие, продлившее моё пребывание там.

Одно из явлений, особенно привлёкших моё внимание, было строение человеческого тела и вообще всякого живого существа, наделённого жизнью. Откуда, спрашивал я себя не раз, берёт начало сам принцип жизни? Вопрос был дерзок и издавна почитался тайной непостижимой; но сколь многое было бы нам доступно, когда бы малодушие или беспечность не удерживали наших поисков! Я обдумывал эти обстоятельства и решил с тех пор посвятить себя особо тем отраслям натуральной философии, что относятся к физиологии. Не будь я одушевлён почти сверхъестественным воодушевлением, занятия эти показались бы мне тягостными, почти невыносимыми. Чтобы исследовать причины жизни, необходимо прежде обратиться к смерти. Я приобрёл познания в анатомии, но этого было недостаточно: мне предстояло наблюдать и естественное разложение, тление человеческого тела. В моём воспитании отец мой принимал величайшие предосторожности, дабы разум мой не был поражён никакими сверхъестественными ужасами; не припомню, чтобы я хоть раз трепетал перед суеверным преданием или боялся явления призрака. Тьма не имела власти над моим воображением, а кладбище было для меня лишь хранилищем тел, лишённых жизни, которые, бывши некогда вместилищем красоты и силы, стали пищею для червя. Ныне же мне предстояло исследовать причину и течение этого распада, и я вынужден был проводить дни и ночи в склепах и костехранилищах. Внимание моё было приковано ко всему, что наиболее невыносимо для утончённых челове-

ских чувств. Я видел, как прекрасный образ человека унижается и истлевает; видел, как тление смерти сменяет цветущую живую плоть; видел, как червь наследует чудеса глаза и мозга. Я останавливался, исследуя и разбирая до мельчайших подробностей всю причинность превращения жизни в смерть, а смерти — вновь в жизнь, покуда среди этой тьмы внезапно не блеснул мне свет, — свет столь ослепительный и дивный, но вместе с тем столь простой, что, хотя от головокружительной необъятности открывшейся передо мною картины у меня закружилась голова, я не мог не изумиться тому, что среди стольких гениальных мужей, направлявших свои изыскания на ту же науку, именно мне одному суждено было открыть столь поразительную тайну.

Помни, я излагаю не бред безумца. Солнце не более несомненно сияет на небесах, чем истинно то, что я утверждаю ныне. Возможно, чудо какое-нибудь произвело это открытие, но самые ступени его были явственны и правдоподобны. После дней и ночей невероятного, изнурительного труда мне удалось открыть причину зарождения и жизни; более того — я сам обрёл способность даровать одушевление мёртвой материи.

Изумление, испытанное мною при этом открытии, скоро сменилось восторгом и упоением. После стольких месяцев мучительного труда достичь разом самой вершины своих желаний было вожаденнейшим завершением всех моих усилий. Но открытие это было столь велико и подавляюще, что все шаги, постепенно приведшие меня к нему, изгладились из памяти, и предо мною остался лишь самый результат. То, что было предметом изучения и желания мудрейших мужей от сотворения мира, ныне находилось в моих руках. Нет, оно не открылось мне разом, точно волшебная картина: обрётённое мною знание скорее указывало путь моим усилиям, коль скоро я направлю их к предмету своих поисков, нежели являло самый предмет уже достигнутым. Я был подобен тому арабу, что был погребён вместе с мёртвыми и обрёл путь к жизни лишь при свете одного слабого, казалось бы, бесполезного мерцающего огонька.

Вижу по твоему нетерпению, по изумлению и надежде, что светятся в твоих глазах, друг мой, что ты ждёшь, чтобы я поведал тебе тайну, коей владею; этого не будет; выслушай терпеливо мою повесть до конца, и ты сам поймёшь, отчего я храню молчание на этот счёт. Я не поведу тебя, неосторожного и пылкого, каким был некогда я сам, к гибели и неминуемому несчастью. Научись от меня, если не наставлениями моими, то хотя бы моим примером, сколь опасно приобретение знания и сколь счастливее тот, кто почитает свой родной город целым миром, нежели тот, кто стремится стать выше того, что дозволено его природе.

Когда я обнаружил в своих руках столь удивительную силу, я долго колебался, как мне ею распорядиться. Хотя я и обладал способностью даровать одушевление, всё же подготовить тело к его восприятию, со всеми сложностями волокон, мышц и сосудов, оставалось делом невообразимой трудности и труда. Поначалу я сомневался, следует ли мне попытаться создать существо, подобное самому себе, или же организации более простой; но воображение моё было слишком воспламенено первым успехом, чтобы допустить сомнение в моей способности даровать жизнь существу столь сложному и дивному, как человек. Материалы, коими я располагал в ту пору, едва ли казались достаточными для столь трудного предприятия, но я не сомневался, что в конце концов добьюсь успеха. Я приготовился к множеству неудач; мои действия могли беспрестанно терпеть крушение, и в конце концов творение моё могло оказаться несовершенным; но, размышляя об усовершенствованиях, ежедневно происходящих в науке и механике, я укреплялся надеждой, что настоящие мои опыты по меньшей мере заложат основание будущему успеху. Не мог я счесть и самый размах и сложность своего замысла доказательством его неосуществимости. С такими чувствами я приступил к созданию человеческого существа. Поскольку мелкость частей значительно замедляла мою работу, я решил, вопреки первоначальному намерению, придать своему созданию исполинский рост — то есть около

восьми футов вышиной и соответственно широкому сложению. Приняв это решение и потратив несколько месяцев на успешный сбор и упорядочение материалов, я приступил к делу.

Никто не в силах вообразить разнообразие чувств, что несло меня вперёд, точно ураган, в первом упоении успехом. Жизнь и смерть казались мне лишь условными пределами, которые надлежало прежде всего сокрушить, дабы излить поток света в наш тёмный мир. Новый род существ благословит меня как своего создателя и первоисточник; многие счастливые и превосходные натуры будут обязаны мне своим бытием. Ни один отец не мог бы притязать на благодарность своего дитяти столь полно, как заслуживал бы её я от своих созданий. Следуя этим размышлениям, я думал, что если сумею даровать одушевление безжизненной материи, то со временем (хотя теперь и нахожу это невозможным) смогу возвращать жизнь и там, где смерть уже обрела тело на тление.

Эти мысли поддерживали дух мой, покуда я неустанно продвигался в своём предприятии. Щёки мои побледнели от занятий, тело истощилось от долгого затворничества. Порой, на самом краю успеха, я терпел неудачу; но всё же цеплялся за надежду, что следующий день или следующий час принесёт мне исполнение желаемого. Одна тайна, коей владел я один, была той надеждой, коей я себя посвятил; и луна взидала на мои полночные труды, покуда я, с неослабной, затаившей дыхание пытливостью, преследовал природу в самых её потаённых убежищах. Кто способен вообразить весь ужас моего тайного труда, когда я копался в неосвящённой сырости могил или терзал живых тварей, дабы вдохнуть одушевление в мёртвую глину? Ныне при одном воспоминании об этом дрожат мои члены и мутится в глазах; но тогда неодолимый, почти безумный порыв гнал меня вперёд; казалось, я утратил всякую душу и всякое ощущение, кроме этой единственной цели. То было лишь мимолётное забытьё, что лишь с новой остротой давало мне почувствовать всё, едва только неестественное возбуждение переставало действовать и я возвращался к прежним своим привычкам. Я собирал кости в костехранилищах и святотатственными перстами тревожил ужасные тайны человеческого тела. В уединённой комнате, вернее сказать, келье, на самом верху дома, отделённой от прочих покоев галереей и лестницей, я держал свою мастерскую нечестивого творения; глаза мои, казалось, готовы были вылезти из орбит от напряжённого внимания к подробностям моего труда. Прозекторская и бойня доставляли мне немало материала; и часто человеческая природа моя с отвращением отшатывалась от этого занятия, — но, влекомый неустанно возрастающей алчностью, я всё же приближал своё творение к завершению.

Летние месяцы прошли, покуда я был занят, душою и телом, одним этим стремлением. Пора стояла на диво прекрасная; никогда ещё поля не даровали более обильной жатвы, а лозы — более щедрого урожая, но глаза мои были нечувствительны к прелестям природы. И то же самое чувство, что заставляло меня пренебрегать окружающими картинами, заставляло меня забывать и о друзьях, столь далёких от меня и не виденных так давно. Я знал, что молчание моё тревожит их, и хорошо помнил слова отца: «Знаю, что, покуда ты доволен собою, ты будешь думать о нас с любовью и мы станем получать от тебя вести исправно. Прости же меня, если всякий перерыв в переписке твоей я стану принимать за доказательство, что и другие обязанности твои столь же запущены».

Итак, я хорошо знал, каковы будут чувства моего отца, но не в силах был оторвать мысли от занятия, мерзкого самого по себе, но овладевшего моим воображением с неодолимою силою. Мне хотелось, так сказать, отложить всё, что касалось привязанностей сердца, покуда не будет завершена великая цель, поглотившая все привычки моей натуры.

Тогда я полагал, что отец поступил бы несправедливо, приписав моё нерадение пороку или вине с моей стороны; но теперь убеждён, что он был вправе считать меня не вовсе безупречным. Человек в своём совершенстве обязан всегда сохранять спокойствие и мир душевный и никогда не позволять страсти или мимолётному желанию нарушать своё спокойствие. Не думаю, чтобы стремление к знанию составляло из этого правила исключение. Если заня-

тие, коему ты предаёшься, ведёт к ослаблению чувств и уничтожению вкуса к тем простым радостям, в кои не может примешаться никакая примесь зла, — то занятие это, несомненно, незаконно, то есть не подобает разуму человеческому. Если бы правило это соблюдалось неизменно; если бы никто не позволял никакому занятию нарушать спокойствие семейных привязанностей, — Греция не была бы порабощена, Цезарь пощадил бы своё отечество, Америка была бы открыта не столь стремительно, и державы Мексики и Перу не были бы уничтожены.

Но я забываю, что предаюсь нравоучениям в самой занимательной части своего повествования, а твой взгляд напоминает мне, что следует продолжать.

Отец мой не укорял меня в письмах и лишь отмечал моё молчание, расспрашивая о моих занятиях подробнее прежнего. Зима, весна и лето минули среди моих трудов; но я не следил за цветением и распусканием листвы — зрелищами, что прежде неизменно доставляли мне высшую отраду, — столь глубоко был я поглощён своим занятием. Листва того года увяла ещё прежде, чем труд мой приблизился к завершению, и с каждым днём всё яснее становилось мне, сколь удачно он удался. Но воодушевление моё сдерживалось тревогою, и я походил скорее на раба, обречённого трудиться в рудниках или на ином нездоровом промысле, нежели на художника, занятого любимым делом. Каждую ночь угнетала меня медленная лихорадка, нервы мои расстроились до крайности мучительной степени; шелест падающего листа заставлял меня вздрагивать, и я бежал общества себе подобных, точно был повинен в некоем преступлении. Порою меня охватывал ужас при виде того, во что я превратился; лишь напряжение воли к достижению цели поддерживало меня: труды мои близились к завершению, и я верил, что движение и развлечение отгонят зарождающийся недуг, — обещая себе то и другое, едва лишь завершится моё творение.

Глава 5

То было унылой ноябрьской ночью, когда я узрел завершение своих трудов. С тревогою, почти равной агонии, я собрал вокруг себя орудия жизни, дабы вдохнуть искру бытия в бездыханное существо, лежавшее у моих ног. Было уже за полночь; дождь уныло барабанил по стёклам, свеча моя почти догорела, когда при мерцающем, полупогасшем её свете я увидел, как тусклый жёлтый глаз творения моего открылся; оно тяжело задышало, и судорожное движение сотрясло его члены.

Как описать чувства мои при этой катастрофе, как изобразить то жалкое существо, что с таким безмерным тщанием и заботой я стремился создать? Члены его были соразмерны, черты я избрал прекрасными. Прекрасными! Боже великий! Жёлтая кожа его едва скрывала работу мышц и сосудов под нею; волосы были иссиня-чёрны и струились; зубы белели, точно жемчуг; но вся эта пышность лишь тем ужаснее контрастировала с его мутными глазами, что казались почти того же цвета, что и тускло-белые впадины, в коих они помещались, с его сморщенной кожей и прямыми чёрными губами.

Различные случайности жизни не столь переменчивы, сколь чувства человеческой натуры. Я трудился без устали почти два года с единственной целью — вдохнуть жизнь в безжизненное тело. Ради этого я лишал себя покоя и здоровья. Я желал этого с пылом, далеко превосходившим всякую меру; но теперь, когда я завершил свой труд, красота грёзы рассеялась, и сердце моё наполнилось удушливым ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида существа, мною сотворённого, я выбежал из комнаты и долго ещё метался по своей спальне, не в силах смирить дух свой ко сну. Наконец усталость сменила пережитое смятение, и я бросился на постель одетым, стремясь обрести хоть несколько мгновений забытья. Но тщетно; я и вправду уснул, но сон мой тревожили самые дикие видения. Мне чудилось, будто я вижу Элизабет, цветущую здоровьем, гуляющую по улицам Ингольштадта. Обрадованный и изумлённый, я заключил её в объятия; но едва запечатлел первый поцелуй на её губах, они посинели мертвенной синевой; черты её словно переменились, и мне почудилось, что в объятиях моих — тело моей покойной матери; саван окутывал её фигуру, и я видел могильных червей, копошащихся в складках холста. Я очнулся в ужасе; холодный пот покрывал мой лоб, зубы стучали, всё тело сотрясали судороги; и вот, при тусклом, желтоватом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, я увидел его — то жалкое чудовище, что сам создал. Он приподнял полог кровати, и глаза его — если можно назвать их глазами — были устремлены на меня. Челюсти его раскрылись, он пробормотал какие-то нечленораздельные звуки, меж тем как гримаса морщила его щёки. Быть может, он и говорил что-то, но я не слышал; одна рука его протянулась, будто желая удержать меня, но я вырвался и бросился вниз по лестнице. Я укрылся во дворе дома, где обитал, и провёл там остаток ночи, расхаживая в величайшем волнении, напряжённо прислушиваясь и с трепетом ловя каждый звук, будто он мог возвестить приближение демонического трупа, коему я по своему несчастью даровал жизнь.

О! Ни один смертный не вынес бы ужаса этого лица. Даже мумия, вновь наделённая одушевлением, не могла бы быть столь отвратительна, как это существо. Я видел его ещё незавершённым — оно было уродливо уже тогда; но когда мышцы и суставы обрели способность к движению, оно стало созданием, какого не смог бы вообразить сам Данте.

Ночь я провёл в жалчайшем состоянии. То пульс мой бился так часто и сильно, что я ощущал биение каждой жилы, то я едва не оседал на землю от слабости и крайнего изнеможения. К этому ужасу примешивалась горечь разочарования: грёзы, столь долго служившие мне пищей и отрадным отдохновением, обратились ныне в сущий ад, — и как стремительна была эта перемена, сколь полным было крушение!

Наконец занялось унылое, дождливое утро и явило моим бессонным, измученным очам ингольштадтскую церковь, белый её шпиль и часы, показывавшие шесть. Привратник отворил ворота двора, служившего мне в ту ночь убежищем, и я вышел на улицы, торопливыми шагами меряя их, будто стремился избежать того существа, что, казалось, вот-вот покажется мне из-за каждого поворота. Я не решался вернуться в свою квартиру, но чувствовал себя вынужденным идти дальше и дальше, хотя дождь, лившийся с чёрного, безрадостного неба, промочил меня насквозь.

Так продолжал я идти некоторое время, стараясь телесным движением облегчить бремя, что давило мне на душу. Я шёл по улицам, не имея ясного понятия ни о том, где нахожусь, ни о том, что делаю. Сердце моё колотилось от болезненного страха, и я торопился неровными шагами, не смея оглядываться вокруг:

Так путник, одиноко в путь пустясь,
Дрожа, спешит вперёд,
И раз лишь обернувшись, вновь
Свой взор назад не обратит:
Он знает — призрак роковой
За ним по следу вслед летит.
Кольридж, «Сказание о старом мореходе»

Так я всё шёл и шёл, покуда не оказался наконец напротив гостиницы, где обыкновенно останавливались дилижансы и почтовые кареты. Здесь я остановился, сам не зная зачем, но простоял несколько минут, не сводя глаз с кареты, что приближалась ко мне с другого конца улицы. Когда она подъехала ближе, я узнал в ней швейцарский дилижанс; он остановился как раз там, где я стоял, и, едва отворилась дверца, я увидел Генри Клерваля, который, завидев меня, тотчас же выпрыгнул наружу. «Дорогой Франкенштейн! — воскликнул он. — Как я рад тебя видеть! Какая удача, что ты оказался здесь в самую минуту моего приезда!»

Ничто не могло сравниться с моею радостью при виде Клерваля; самое присутствие его вернуло мне мысли об отце, об Элизабет, обо всех тех родных картинах, что были столь дороги моей памяти. Я схватил его за руку и в единый миг позабыл свой ужас и своё несчастье; впервые за много месяцев я ощутил спокойную, безмятежную радость. Я приветствовал друга самым сердечным образом, и мы направились к моему колледжу. Клерваль ещё некоторое время говорил о наших общих друзьях и о собственной удаче, позволившей ему приехать в Ингольштадт. «Ты, верно, легко можешь себе представить, — говорил он, — сколь трудно было убедить моего отца, что не всё необходимое знание заключено в благородном искусстве бухгалтерии; и, признаться, думаю, он так и остался при своём неверии до самого конца, ибо неизменным ответом на все мои неустанные просьбы служили ему те же слова, что и голландскому школьному учителю из „Векфильдского священника“: „У меня десять тысяч флоринов годового дохода без греческого языка, и без греческого языка я славню обедаю“. Но любовь его ко мне в конце концов одолела нелюбовь к учёности, и он позволил мне отправиться в путешествие за знаниями».

— Величайшая радость видеть тебя; но Расскажи же, как оставил ты моего отца, братьев и Элизабет?

— В добром здравии и вполне счастливы, лишь немного встревожены тем, что так редко получают от тебя вести. Кстати, я и сам намерен тебя за это немного пожурить. Но, дорогой Франкенштейн, — продолжал он, внезапно остановившись и пристально вглядываясь мне в лицо, — я не сразу заметил, как дурно ты выглядишь; такой худой и бледный; будто не спал несколько ночей кряду.

— Ты угадал верно; в последнее время я так глубоко был поглощён одним делом, что не позволял себе достаточно отдыха, как видишь; но надеюсь, искренне надеюсь, что все эти труды теперь позади и я наконец свободен.

Меня била сильная дрожь; я не в силах был даже подумать, не то что заговорить о происшествиях минувшей ночи. Я шёл быстрым шагом, и вскоре мы достигли моего колледжа. Тут я вспомнил — и мысль эта заставила меня содрогнуться, — что существо, оставленное мною в квартире, могло ещё оставаться там, живое, расхаживающее по комнатам. Я страшился увидеть это чудовище, но ещё более страшился, что его увидит Генри. Упросив его подождать несколько минут внизу лестницы, я устремился к своей комнате. Рука моя уже лежала на дверной ручке, когда я опомнился. Тогда я замер, и холодная дрожь пробежала по мне. Я резко распахнул дверь, как это делают дети, ожидая увидеть призрак, стоящий за нею наготове; но ничего не явилось. Я боязливо шагнул внутрь: комната была пуста, и спальня моя также избавлена была от своего чудовищного гостя. Я едва мог поверить, что подобная удача выпала мне на долю, но, убедившись окончательно, что враг мой и вправду бежал, я захолопал в ладоши от радости и бросился вниз, к Клервалю.

Мы поднялись ко мне в комнату, и слуга вскоре принёс завтрак; но я не в силах был совладать с собою. Не одна лишь радость владела мною; я чувствовал, как плоть моя трепещет от избытка чувствительности, а пульс бьётся учащённо. Я не мог оставаться на месте ни единого мгновения; я перепрыгивал через стулья, хлопал в ладоши и громко смеялся. Клерваль поначалу приписал моё необычное оживление радости от его приезда, но, присмотревшись внимательнее, заметил в глазах моих некую дикость, коей не мог объяснить, а мой громкий, безудержный, бессмысленный смех испугал и поразил его.

«Дорогой Виктор, — воскликнул он, — да что же с тобою, ради всего святого? Не смейся так! Как дурно ты выглядишь! Что тому причиной?»

«Не спрашивай меня, — вскричал я, закрывая глаза руками, ибо мне почудилось, что страшный призрак вновь скользнул в комнату, — он сам скажет тебе. О, спаси меня! Спаси!» Мне представилось, что чудовище схватило меня; я отчаянно рванулся и упал без чувств.

Бедный Клерваль! Каковы должны были быть его чувства? Встреча, коей он ожидал с такой радостью, столь странно обернулась горечью. Но я не был свидетелем его скорби, ибо лежал бездыханным и долго, очень долго не приходил в себя.

Так началась нервная горячка, приковавшая меня к постели на несколько месяцев. Всё это время Генри был единственным моим сиделкою. Впоследствии я узнал, что, зная о преклонных летах моего отца и его непригодности к столь долгому путешествию, а также о том, сколь несчастна сделалась бы от вести о моей болезни Элизабет, он избавил их от этого горя, скрыв от них истинную тяжесть моего недуга. Он знал, что более заботливого и внимательного сиделки, чем он сам, мне не сыскать; и, твёрдо веря в моё выздоровление, не сомневался, что вместо вреда оказывает им величайшую услугу.

Но я и вправду был весьма тяжело болен, и, конечно, лишь безграничная, неустанная забота друга могла вернуть меня к жизни. Облик чудовища, коему я даровал бытие, неотступно стоял перед моими глазами, и я беспрестанно бредил о нём. Без сомнения, слова мои изумляли Генри; поначалу он полагал их лишь блужданиями расстроенного воображения, но упорство, с коим я вновь и вновь возвращался к одному предмету, убедило его, что недуг мой и в самом деле обязан своим происхождением некоему необычайному, страшному событию.

Медленно, очень медленно, с частыми рецидивами, тревожившими и огорчавшими моего друга, я поправлялся. Помню, как впервые смог с каким-то подобием удовольствия обратить внимание на окружающие предметы и заметил, что опавшие листья исчезли, а на деревьях, что осеняли моё окно, уже пробивались молодые почки. То была дивная весна, и эта пора немало способствовала моему выздоровлению; я почувствовал, как чувства радости и любви вновь оживают в груди моей; уныние моё рассеялось, и вскоре я сделался так же весел, как и до того, как меня поразила роковая страсть.

«Милый Клерваль, — воскликнул я, — как ты добр, как безмерно добр ко мне! Всю эту зиму, вместо того чтобы посвятить её учёбе, как ты обещал себе, ты провёл у моего одра

болезни. Как мне отплатить тебе за это? Испытываю величайшее раскаяние за то разочарование, коего сделался причиной, но ты меня простишь».

«Ты вполне отплатишь мне, если не станешь тревожить себя, а поскорее выздоровеешь; и раз уж ты, кажется, в таком добром расположении духа, могу ли я поговорить с тобой на одну тему?»

Я вздрогнул. Одна тема! Что бы это могло быть? Уж не намекает ли он на нечто, о чём я и подумать не смел?

«Успокойся, — сказал Клерваль, заметив, как я переменялся в лице, — я не стану заводить об этом речь, если это тебя тревожит; но отец твой и кузина были бы весьма рады получить письмо, написанное твоей собственной рукой. Они едва ли знают, сколь тяжело ты болел, и обеспокоены твоим долгим молчанием».

«И только-то, дорогой Генри? Как мог ты предположить, что первая моя мысль не устремится к тем дорогим, дражайшим друзьям, кого я люблю и кто вполне достоин моей любви?»

«Если таково твоё нынешнее расположение духа, друг мой, тебе, быть может, будет приятно взглянуть на письмо, что лежит здесь уже несколько дней; оно, кажется, от твоей кузины».

Глава 6

Тут Клерваль вложил мне в руки следующее письмо. Оно было от моей собственной Элизабет:

Дражайший кузен! Ты был болен, очень болен, и даже частые письма доброго, милого Генри не в силах вполне успокоить меня на твой счёт. Тебе запрещено писать — держать перо; и всё же одно слово от тебя, дорогой Виктор, необходимо, чтобы утишить наши опасения. Долгое время я думала, что вот-вот придёт эта весточка, и уговоры мои удерживали дядю от поездки в Ингольштадт. Я избавила его от тягот, а быть может, и опасностей столь долгого пути, — но как часто я жалела, что не могу проделать его сама! Мне представлялось, что уход за тобою во время болезни поручен какой-нибудь наёмной старой сиделке, что никогда не сумеет угадать твои желания и заботиться о тебе с той же нежностью, что твоя бедная кузина. Но теперь всё это позади: Клерваль пишет, что тебе действительно становится лучше. Горячо надеюсь, что ты сам вскоре подтвердишь эту весть собственноручно.

Выздоровливай же — и возвращайся к нам. Тебя ждёт счастливый, радостный дом и друзья, что нежно тебя любят. Здоровье твоего отца крепко, он лишь просит увидеть тебя, увериться, что ты здоров, — и никакая забота более не омрачит его доброго лица. Как порадовался бы ты, заметив, как переменился наш Эрнест! Ему уже шестнадцать, и он полон живости и духа. Ему хочется стать настоящим швейцарцем и поступить на иностранную службу, но мы не можем расстаться с ним — по крайней мере, пока не вернётся его старший брат. Дядя не в восторге от мысли о военной карьере на чужбине, но у Эрнеста никогда не было твоей способности к прилежанию. Он смотрит на учение как на постылые оковы; всё время своё проводит на вольном воздухе, взбираясь на холмы или катаясь по озеру на лодке. Боюсь, он сделается праздным бездельником, если мы не уступим и не позволим ему избрать то поприще, к которому он стремится.

Мало что переменялось у нас с твоего отъезда, кроме роста наших милых детей. Синее озеро и снежные горы — они неизменны; и мне кажется, наш безмятежный дом и наши довольные сердца подчинены тем же незыблемым законам. Мои скромные занятия заполняют моё время и забавляют меня, и наградой за всякий труд служит мне вид одних лишь счастливых, добрых лиц вокруг. С твоего отъезда лишь одна перемена произошла в нашем маленьком семействе. Помнишь ли ты, по какому случаю Жюстина Мориц вошла в нашу семью? Вероятно, нет; расскажу же тебе вкратце её историю. Госпожа Мориц, её мать, была вдовою с четырьмя детьми, из коих Жюстина была третьей. Девочка эта всегда была любимицей отца, но, по странной прихоти, мать её не выносила и после смерти г-на Морица обращалась с нею весьма дурно. Тётушка моя это заметила и, когда Жюстине исполнилось двенадцать лет, уговорила её мать позволить ей жить в нашем доме. Республиканские установления нашей страны породили нравы более простые и счастливые, нежели те, что царят в окружающих нас великих монархиях. Оттого и различие между сословиями здесь не столь резко; а низшие сословия, не будучи ни столь бедны, ни столь презираемы, отличаются и более утончёнными, нравственными манерами. Служанка в Женеве — не то же самое, что служанка во Франции или Англии. Жюстина, принятая таким образом в нашу семью, научилась обязанностям служанки — положению, что в нашей счастливой стране вовсе не предполагает невежества и жертвы человеческого достоинства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.